

Лит. газ.
8 ИЮЛЯ 1987 г. № 28 (5146)

Из бесед с Леонидом Леоновым

«То, что создавалось подвигом, сохраняется лишь таким же подвигом»

ФОРМУЛА ЧЕЛОВЕКА

«МНЕ КАЖЕТСЯ, сейчас меня читают внимательнее, чем раньше», — обронил Леонид Максимович при первой нашей встрече с ним летом 1985 года в Переделкине.

Прошло два года, и у меня появилась возможность убедиться в правоте острожного предположения мастера. И не только на собственном примере. Жизнь приносила свидетельства возрастающего интереса к личности и слову Леонова.

Живой общественный отклик вызвали телевизионные передачи с его участием — встреча со студентами МГУ и беседа с Ю. Бондаревым в программе о духовной жизни человека.

Журнал «Советская литература» на иностранных языках посвятил ему целый номер, и вот результат — тираж на англоязычные страны, и в частности США, сразу же «подскочил»: там хотят знать Леонова.

Каждое его выступление — событие, выступает ли он как публицист по самым важным вопросам современности — о войне и мире, в защиту жизни, разума, природы, гуманистических и духовных ценностей, публикует ли фрагменты из незавершенного романа «Мироздание по Дымкову» («Правда», 18 февраля 1987 г., «Москва», № 5, 1987 г., «Новый мир», № 11, 1984 г.).

Но одновременно с «новым» Леоновым, или, как его метко окрестили тележурналисты, «человеком из будущего», к нам приходит и «старый» Леонов — его ранняя проза, великолепно изданная в прошлом году издательством «Современник» и мгновенно исчезнувшая с книжных прилавков, новые переиздания известных романов «Соть», «Дорога на Океан», «Русский лес».

Да, мы живем в присутствии Леонида Леонова. Выдающегося художника современности, мастера слова, человека редкого таланта, которого Горький — еще молодого — ввел в ряд крупнейших русских писателей.

Отдаем ли мы себе в полной мере отчет, что значит быть его современником?

В свое время Александр Блок напишет в Записных книжках: «Сознание того, что чудесное было рядом с нами, часто приходит слишком поздно. Надо помнить, что самое существование гения есть непрестанное излучение света на современников. Свет этот и близоруким остерегал от самых опасных мест».

Если с этой точки зрения взглянуть на «окрестности» леоновского слова, то окажется: еще в 20-е годы, задолго до нашумевших дискуссионных «о физиках и лириках», «о ветне сирени в космосе», точно так же, как и сегодня, в 80-е, Леонов остерегает: «Наука без моральной основы бессмысленна, если не вредна» («Спираль»).

Еще задолго до того, как в социальной жизни общества послевоенных десятилетий 50—70-х годов проявится это опасное явление — мимикрия зла, паразитирующее на живом духе народа и его делах, Леонов разглядит зловещую, болезненную зародышевую форму, дающую, даст мимия — трагизм («Русский лес»).

Еще задолго до сегодняшних «прорабов духа», с первых же своих произведений, будь то библийский рассказ «Уход Хама» или роман «Вор» с его «боязнью пустоты за спиной», Леонов вступит в непрерывный диалог со всей культурой человечества, ощущая «гигантскую потребность определить на карте человеческого прогресса...». «Октябрьская революция представляется мне начальным актом генеральной перестройки человеческого бытия на новый лад, когда прежний движитель прогресса, чисто эгоистический импульс материального самообогащения, сменится желанием, приравненным для всех достатке, импульсом обогащения духовного».

Впервые теоретически обосновывая право на «философию литературы», призванную осознать современность в «свободном потоке действующей культуры», Леонов напишет Горькому: «Мы в очень трудное время живем. Перестройка идет такая, каких с самого Иереми не бывало (Иереми тут со смыслом)». «Время опасное, и о многом нельзя, а жаль — кто-то о социальном, о встречном промывании». Есть особая (тут я очень неточно, ибо еще не продумал) литературная философия людей, явлений, событий. В некоем величественном ряду стоит — Дант, Атилла, Робеспьер. Наполеон (и о типах), теперь сюда встал исторический — новый человек... Вот и требуется отыскать формулу его, найти ту философическую подоплеку, благодаря которой он встал так твердо и, разумеется, победит. Все смыслы мира нынешнего, скрепящегося в каком-то фокусе, обуславливают его победу. Вот о чем надо писать...».

И в прошедшие десятилетия, и сегодня в своих статьях, программах, заявлениях, беседах Леонов продолжает искать свою, леоновскую формулу человека.

Вот точка отсчета этой формулы: «...Я стою за искусство, которое делает человека лучшим вообще, а не по какой-нибудь отдельной, административно-хозяйственной или, скажем, санитарно-домостроительной отрасли» («Вор»).

ЕСТЕСТВЕННО, и в нашей второй беседе с писателем (майской, этого года) разговор сразу же зашел о специфике профессии художника, в силу которой он может опережать время, «делать человека лучшим вообще». У нас больше воображения и эмоций... В искусстве необходимо преувеличение. Воображение — это талант», — повторил и сейчас свою излюбленную мысль Леонид Максимович.

Некоторые вещи, размышляет он, начались у него с эмоций, с мелодии, с «музыкального ключа».

— Эмоция — первый слепок идеи. Эмоция в жизни не чистая, бытовая, а в творчестве она математичнее, строже... Разум открывает только то, что душа знает.

Не нужно было спрашивать у писателя, почему из возможных художественных средств, которыми располагает искусство слова, он выбирает самое «искусственно-преувеличенное». Понятно: чтобы «достучаться» до «сознания общества, до каждого человека в отдельности с целью — вспомнить в «Мироздании по Дымкову» — «уточнить свой адрес во времени и пространстве». Вопрос в другом: удастся ли обществу в полной мере

расслышать голос писателя? Его предостережение, боль?

Ведь не секрет, что многие «сигналы» писателей, и Леонова в том числе, поступают в общество с хроническим опозданием (так, к примеру, сценарий «Бегство мистера Мак-Кинли» и статья «Раздумья у старого камня» пролежали — не по вине автора — более десяти лет).

— Трудно быть пророком в своем отечестве, даже на таком маленьком, безвредном поприще, как литература.

— Сегодня к нам возвращаются имена: произведения, созданные много лет тому назад, мы печатаем, читаем, размышляем о них, но, вынутые из «своего времени», приди в другое, «лучшее», не становятся ли они иными? Не приписываем ли мы им задним числом наше сегодняшнее знание и мышление?

— Если люди читают, то это возвышенное произведение. Эмоция сильнее, объемнее, примешивается читательское эхо. Я называю фильм «Покаяние», который у всех нас свеж в памяти, и спрашиваю Леонида Максимовича: смотрел ли он его и с каким чувством?

— Мне понравился фильм, он имеет логические недочеты, но фильм объединяет итоговое мнение. Это оглядка назад. У меня есть в повести «Eugenia Ivanovna»: прошлое учит настоящее не повторять его ошибок в будущем...

Уточняя, ищущего в удивительной, до конца не разгаданной критикой маленькой повести Леонова. Время создания ее, как это нередко бывает у писателя, обозначено двумя датами: 1938—1963. Первая — 1938 год — это то время, о котором фильм. Символично и другое: слова «Копая свое прошлое так, чтобы это помогло стать честней и краше будущему» произносятся в повести телянцы, грузины...

И обращены они не только к мистерию Лекерингу, но и к каждому из нас. Как и другие слова героя: «Вот, все они ушли, но они по-прежнему тут! Ничто не пропадет... Жалейте их... не топчите на него, прах прежней жизни, за то, что он ластится и льнет к живым».

Не важно ли и то, продолжая я разговор о «Покаянии», что создатели фильма (режиссер Т. Абуладзе) ради эмоционального потрясения, ради эффекта воздействия на сознание зрителя пошли на художественное преувеличение, фантастическое допущение: главного героя Варлама «лишают» могилы, ибо он не имеет права на добрую смерть... Но ведь не менее потрясает зрителя эпизод, где ничего не выдуманно, где героиня фильма «как трехзвезда, с передачкой...» (А. Ахматова), или «сцена с бревнами» — «но это было явной болью для тех, чей был оборван век, для ставших лагерно пылью, как некто некогда изрек» (А. Твардовский).

— Но это же превращение образа в притчу, — замечает Леонид Максимович. И в этом замечании неожиданно приоткрывается для меня главное свойство метода писателя: «...дело художника уложить событие в объем зерна, чтобы брошенное однажды в живую человеческую душу, оно распустилось в прежнем, пленившем его однажды чудо...» («Eugenia Ivanovna»).

— Притчи, сказки, мифы, легенды, — уточняет писатель, — они пишутся на меди, которую не сжигает ни едкое время, ни едкий дождь, ни могучий Ахиллес... Леонид Максимович медленно цитирует наизусть чеканные латинские строки из Горация (не раз возвращается к ним в течение нашей беседы).

Но не прозлит ли художнику грех отвлеченности? Очевидно, время требует от него самого непосредственного вмешательства в жизнь. И как нам с помощью литературы, в том числе и публицистики, а Леонов всегда дает нам образцы высокохудожественной публицистики, помочь обществу выработать иммунитет к злу?

— Это можно только в той степени, в какой литература это делает. Больше нельзя.

Несмотря на ежедневную санитарную работу, зло продолжает действовать... Если зло сильнее, нужна, очевидно, другая работа, кроме писателей. Более реальная, созидательная работа власти.

Писатели воздействуют только на души и сердца, а надо воздействовать на умы и руки.

Наш разговор выходит на «болеющую точку» — нравственное состояние современного общества. Оно страдает бездуховностью. Но что такое духовность? Помните, в телепередаче писатель определил ее следующим образом:

— Это какой-то высший слепок творчества. Это такой тонкий слепок, страшно тонкий и страшно хрупкий, как озон, который очень легко разрушить, и который очень сильно сегодня нарушен в искусствах. Понимаете, в литературе пропадает сюжет, мышление, в живописи пропадает рисунок и композиция, в музыке пропадает мелодия...

— А в человеке?

— В человеке — душевное здоровье, душевный покой, что в первую очередь испрашивается молитвой.

Помолчав, Леонид Максимович произносит:

— Сейчас экологически запущена душа, она низведена до низшего ранга, экологически перегружена политикой. Все пропало, что у нас требуют наслаждаться красотой, которая подсаживается политической. Это все делается в ущерб большой человечности. А этого природа не терпит и не прощает.

При описании климата каких-нибудь атоллавых островов прежде всего описывается количество безработных, неграмотных, борьба рынков и т. д. и т. п. — по лестнице вниз...

— Это очень важное мнение, — добавляет Леонид Максимович. А вспоминаю: «В земных печалах та лишь и предостав-

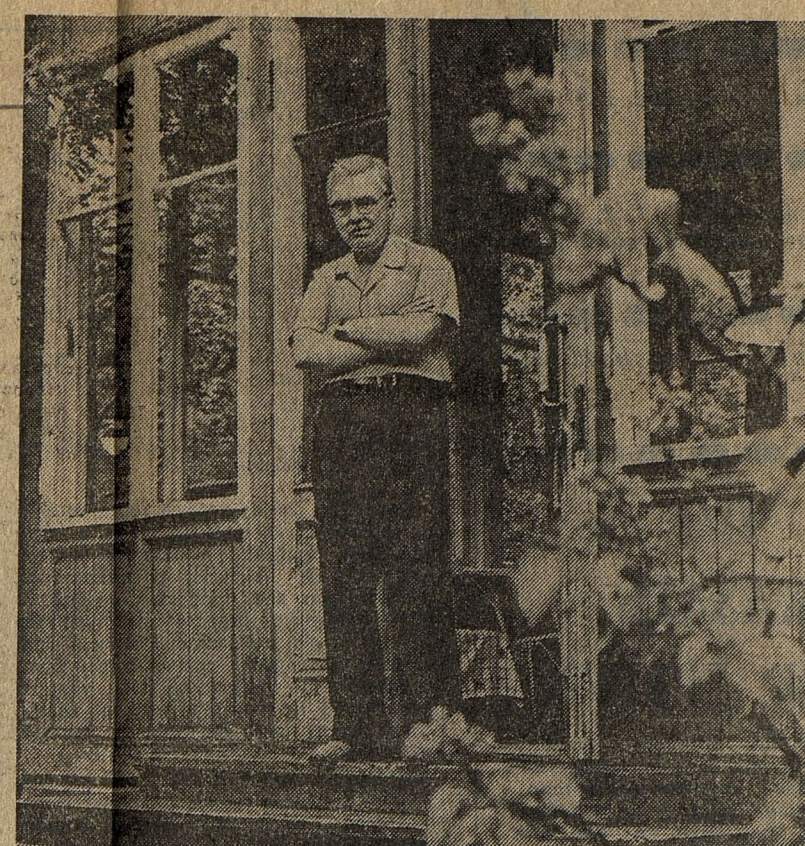


Фото А. КАРЗАНОВА

лена нам крохотная утеша, чтобы, на необычной карие, сущего найди исчезающе-малую точку, шепнуть себе: «Здесь со своей болью обитаю».

— ...Здесь, в этой эпохе, на этих опасных, роковых, головокружительно-непрочных координатах обитаю я, — уточняет писатель. — Хотя есть и другая боль десятилетиями главнее.

— Эта боль связана с профессиональным делом или...

— Нет, это сильнее всякой профессии. Это та боль, о которой, если автор заслуживает, пишут полвека спустя...

— Эта боль экстирпации (удалению) не подлежит. Она экстирпируется вместе с душой...

Признание художника столь глубоко личностно, что в беседе наступает долгая пауза...

«Большой» Леонов знает и конкретные адреса...

— Чернобыль я рассматриваю как знамение, как вещь, библейское, поистине Вальтасарово слово.

Вспоминается предупреждение писателя, что сегодня мышление вслух о таких важных предметах очень похоже на прогулку по минному полю, причем каждую минуту что-то может взорваться... «Взрывается» слово Леонова, когда он прикасается к таким острым, больным, кровотокающим проблемам нашей жизни, как пренебрежение к русской культуре, к памяти, к тому, что создано предками.

Художник философского склада мышления, Леонов настаивает на точном диагнозе «болезни». Писатель не разделяет в этом вопросе позиций радужного оптимизма, всяческого «шашкамизакидства» (его словечко!).

В развитие тех важных мыслей и положений, которые были им высказаны в статьях «В защиту друга» (сегодня «библий» статьи — 40 лет), «Раздумья у старого камня», Леонов продолжает размышлять и сегодня, как бы отвечая на многие наши недоуменные «почему» и «доколе». Почему каждый день приносит нам все новые примеры небрежения «национальной» нашей стариной? — к Байкалу прибавились «дела» вокруг Ясной Поляны, Бородинского поля, памятника Победы на Поклонной горе (с большой болью говорили об этом многие на недавнем пленуме Союза писателей).

Дело памяти настаивает он, боится полумер, оно требует целиком всего человека, всей его жизни.

— То, что создавалось подвигом, сохраняется лишь таким же подвигом. Пришло время максимальной искренности. И то, что на душе у народа скопилось, надо прочесть и принять, как истину библийскую.

ПРИ ПЕРВОЙ нашей встрече писатель откровенно высказался о критике, о несовершенстве самого инструментария, с каким она подходит к такому сложному и нежному явлению, как художник, художественное произведение, и некоторые из его суждений мне хотелось бы ввести в сюжет этой беседы.

Помнится, Леонид Максимович говорил тогда:

— В критике, как и в литературе, талант желателен. От умножения на ноль будет ноль, от умножения бесконечности на ноль будет ноль. Когда мы задаем вопрос, что вы думаете о человеке, о бесконечности или о боге, то все зависит от вопроса. Ваш ответ будет ваш портрет. Ваша критическая статья не только обрисовывает автора, но и вас, критика.

...Мне не везло на критиков. Что только не писали о моих произведениях, как не ругали... сейчас даже трудно представить.

Критики навязывали мне свою эстетику и этику. А она у меня своя. Я играю Шопена, а мне навязывают Баха.

Чем выше похвала, тем она умнее должна быть высказана.

Критики не учитывают всех обстоятельств, по которым пишет автор.

Когда я сажусь за стол, я ничего не знаю о своем персонаже. Я собираю факты, рассматриваю их в лупу, располагаю таким образом, чтобы мой приговор выносил читатель. Окончательный приговор выносит эпоха...

В «Дороге на Океан» я отнимаю у Курилова все — здоровье, любовь и т. д. Я с ним веду разговор накануне второй мировой войны — о важнейших событиях мира... Герой зависит от эпохи, а не она от него.

В 1931 году, в присутствии Сталина, Бухарина, Чухновского за столом Горький сказал о моем «Воре» очень хорошие слова (они не напечатаны).

30 лет спустя я сел и переделал роман... В первой редакции я романтизировал Вехина (главного героя романа. — И. Р.). Во второй — я его изменил в худшую сторону.

Вторая редакция — это в лупу рассмотренные узлы «Вора». Думают, что я переделал «Вора» по требованию Сталина. Говорят, что у Сталина видели весь перечеркнутый красным карандашом текст «Вора» (надо бы его разыскать), — добавляет Леонид Максимович... Но это была абсолютно моя авторская воля.

...Нельзя бранить автора за выбор тем, тех или иных героев. Бюффон говорил, что человек — не только его стиль, но и конституция.

Меня как критика, естественно, интересует, с каким инструментом он должен подходить к такому явлению, как массовая культура.

— Мне представляется вопрос о массовой культуре одним из самых сложных, каверзных и опасных, сходных с подводными минами, которые устанавливаются в узких проходах.

Кое-что проясняет и вот это давнее замечание, оброненное писателем мимоходом, вскользь, когда мы говорили с ним о культуре чтения.

— В России была голодуха, а с другой стороны, были Чайковский, Достоевский, Гоголь, Пушкин, Лермонтов. А ныне все смешалось, сравнялось, понизилась интеллигентность...

Беседа наша неизбежно приходит к теме: труд писателя. У Леонова множество точных и тонких замечаний на этот счет, высказанных в разное время и по разным поводам. Сейчас он говорит так:

— Работа — это ваяние самого себя. Не то чтобы я стал разумнее, я стал ставить крупные, трудные задания...

Самоценка мастера строга, это общеизвестно.

Но есть в этой давней позиции один важный момент, на который он хочет обратить наше внимание:

— В статье «Похвала жанру» у меня сказано: пусть литературоведы будущих времен рассматривают на фоне нашей эпохи написанные нами произведения, которые мы сами оглядываем с чувством неизбежности, исполненного долга и отчаяния.

Речь, конечно, идет не о скидке в оценках и обращена не только к «суровому застрашенному критику». Речь идет о том, чтобы рассматривать художника и его произведения именно на фоне эпохи. Здесь важна каждая подробность, каждая исчезнувшая во времени деталь, вроде нелепой фигуры финисьера, навешавшего в 20-е годы семью Леоновых («Мы жили тогда с женой на 25 рублей»).

А если вспомнить, что Леонов начинал работать в литературе во времена РАППа и его, как и многих других замечательных писателей, вульгаризаторская рапповская критика зачисляла в «попутчики», то да не покажется цена успеха писателя чрезмерной, а как раз впору.

ВСЕ-ТАКИ счастье писателя, есть ли оно?

Во время первой нашей беседы Леонид Максимович высказывался на этот счет, как всегда, не впрямую. Примерно так: пишешь, пишешь, мучаешься, трудишься — и вдруг где-то засияет звезда...

К сожалению, мне не удалось тогда записать за ним словосочетание...

За мысль ручаясь, мысль была ясна — писатель говорил о редких минутах счастья, которое — в процессе напряженной работы — выпадает на долю мастера и служит ему высшей наградой в его многотрудном деле: почувствовать, что ты приблизился к гравии, имя которой — художественное совершенство.

Я прошу Леонида Максимовича вернуться еще раз к этой мысли — для точной записи ее — и, верный себе, отчаянно каждое слово, вплоть до ритмических пауз и знаков препинания, он медленно произносит:

— Труды художника оплачиваются не частными озарениями, возникающими, как звезда, которая сразу объединяет в целое разбросанный, не осмысленный еще хаос произведений.

Замечает ли эту «звезду» читатель?

Я тоже читатель Леонова и не могу удержаться, чтобы не сказать писателю о потрясении меня «овисшей до полу» руке сестры Федора Андреевича, «этом маленьком чудесном инструменте, которым так много было сделано в его жизни...» («Конец мелкого человека»), о бюрократической бумаге, которая загнула человека по имени Чадаев в бродяги — «он все ходил, а мир все писал» («Бродяга»), о сосне, которая еще не знала, что уже умерла» («Русский лес»).

— Остается пожелать, чтобы эта звезда, не затухая, сияла над письменным столом литератора, — сказал Леонов.

На это можно было бы поставить и точку, но...

На следующее утро мне позвонил Леонид Максимович домой с просьбой внести поправки в его высказывания.

В частности, он просил «снять звезду» — не слишком ли красиво?

Строгий мастер был верен самому себе. Как и в случае с подарком. Во время первого посещения писателя я принесла ему посмертную маску Достоевского. Наш разговор шел в ее «присутствии», и мне показалось, что подарок приживется в доме хозяйина, сказавшего — именно в связи с Достоевским, что «личность автора всегда важнее темноты его творения... Любая личность, но не любого художника».

Но когда я уже уходила, Леонид Максимович неожиданно сказал, как бы освобождаясь от гнетущей мысли:

— Я не возьму маски.

— Почему? — спросила я.

— Я не смогу писать.

Поправки я внесла, подарок забрала, но «звезду» было, честно говоря, убрать жалко: пусть все-таки, горемыка, сияет над столом неизвестного литератора, избравшего себе идеалом высокое служение искусству, а не близлежащий успех и славу... К счастью, жанр беседы позволяет это сделать.

Инна РОСТОВЦЕВА